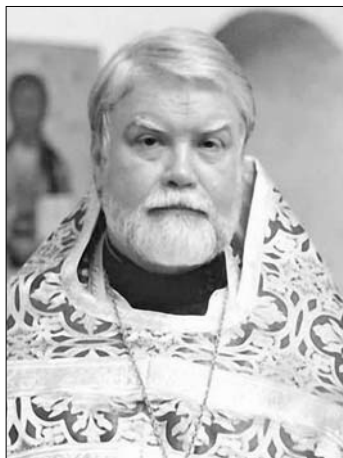


ОТЕЦ ЯРОСЛАВ ШИПОВ



УРОКИ ЖИВОПИСИ

РАССКАЗЫ

Н. В. Денисову

Дом творчества выехал на этюды. Пятнадцать художников — некоторые с женами — прибыли в автобусе на диковатый, пустынный пляж. Тем летом я устроился в Дом творчества рабочим: поливал цветочные клумбы, разгружал машину с продуктами для столовой, а заодно еще выполнял множество хозяйственных поручений. Вот и на пленэр меня отправили ставить палатки, разжигать примусы, помогать всем, кому нужна помощь.

Наконец, палатки поставлены, и живописцы, наскоро искупавшись и перекусив, расположились кто где со своими этюдниками. Одних привлек морской пейзаж с рыбацким сейнером, другие смотрели на холмистую сушу с виноградниками, а Кириллов пошел к впадающей в море речушке, на берегу которой лежал старый баркас.

Мы с Танечкой Кирилловой долго плавали, вылезаем, и тут ее отец подзывает меня:

- Что самое светлое перед нами?
- “Орел”, — говорю.
- Какой ещё орел? — и пристальным взглядом окидывает небеса.
- Так баркас называется.

ШИПОВ Ярослав Алексеевич родился в 1947 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1979-го по 1981 год работал в журнале “Наш современник”. Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. С 1991 года — священник. Служил на отдаленных сельских приходах. В настоящее время служит и живёт в Москве.

— А-а... Название, хоть и написано белилами, но краска давно померкла, и самое светлое в пейзаже — вон то облако слева, — указывает кисточкой, — видишь?

Я киваю.

— А что самое темное?

— “Орел”, — говорю.

— Опять? Не угнетай!

— Но баркас же черный!

— Он лежит на песке, от песка — рефлекс, отражение, а точнее — цветное взаимодействие... И потому борт не черный, а скорее охристый... И вообще запомни: черного цвета в живописи не бывает.

— А “Черный квадрат”?

— Не угнетай! Я говорю о живописи. Так что учись отличать темное от светлого, принимая во внимание все отражения и взаимодействия.

“Не угнетай” было чем-то вроде фамильного пароля — этими словами у них в семье легко пресекались всякие укоры, упреки и любое занудство.

Кириллов кладет на холст краску и приговаривает: “здесь пастозно”, “а вот здесь — лессировочки”... Он знает, кого ради я приехал на каникулы из Москвы, он по-мужски уважителен к моему чувству, но по-отчески дочку оберегает и старается не оставлять нас наедине. За этим же — и в Доме творчества, и здесь — неустанно следит его жена, которая теперь вместе с Танечкой готовит обед у палатки.

— Цвета делятся на теплые и холодные, — продолжает Кириллов, — существует еще понятие дополнительных цветов, это, — он делает шаг назад и прищуривается, вглядываясь куда-то перед собой, — это...

И тут от реки доносится всплеск крупной рыбы.

— Это кто? — ошарашенно спрашивает Кириллов.

— Наверное, сазанчик, — говорю.

— Да какой там сазанчик? Настоящий сазанище! И что — такого можно поймать?

— Отчего нельзя?

— И ты бы мог?

Я прикидываю свои возможности:

— Сазанчика — едва ли: насадки не подобрать, а вот судачка...

— Что для этого нужно?

— Нужна мелкая рыбешка.

— Ну, так лови!

— Чтобы ее поймать, нужны черви.

— А мы тут дополнительными цветами занимаемся? Срочно копать червей!

Танечка попросилась в компанию, и ее с неожиданной лёгкостью отпустили, полагая, наверное, что скитание по мусорным свалкам — занятие совсем уж не романтическое.

В тех местах, надо заметить, земля не то что сухая, а прокалённая солнцем, и потому червяка найти трудно. Так что мы с Танечкой обошли немало сельских помоек, прежде чем раздобыли одного: немощного, бледно-розового, длиною со спичку, а толщиной — в половину спички. На этого недомерка удалось поймать пару плотвичек, а на кусочки плотвичек судак клевал с такой резвостью, что живописцы бросились от этюдников к сковородкам. Запах свежеежаренной рыбы поплыл над морским побережьем. Танечка пребывала в самых восторженных чувствах.

А вот Кириллова на месте не оказалось: пока мы шастали по мусорным свалкам, его пригласили для выполнения срочного заказа местного руководства и увезли в поселок.

Только мы с Танечкой собрались в дальний заплыв, как подлетел белый “уазик”, и шофер сказал, что Кириллов ждет меня, потому что, как всякий большой художник, он привык работать с учеником.

Я вспомнил урок живописи про светлое и темное, и поехали. По дороге еще вспоминал нечто пастозное и лессировочное и все жалел, что не успел освоить дополнительные цвета.

В просторном кабинете над столом, укрытым красной материей, возвышался Кириллов, напротив сидели два дядьки, вероятно, местные руководители.

— Так. Что дальше? — спросил Кириллов.

— Дальше: Сёмка Неякий запустил бильярдным шаром в своего брата, вызывали “скорую”...

— Понятно... Представь, что ты кидаешь шар, — обратился ко мне Кириллов, — руку занеси... вот так... А теперь экспрессии, экспрессии побольше!.. Ярости добавь! Ты теперь — Сёмка Неякий.

— А “Неякий”, — спрашиваю, — это что такое?

— Фамилия, — объясняют начальники.

— Надо же, — говорю, — как угораздило.

— Уклонились от главной темы! Не отвлекайся! Динамичнее... глаза сверкают злобой... вот так!.. Готово!

Подхожу поближе, чтоб посмотреть: на листе ватмана уже несколько картинок в карикатурном стиле — похоже, он приехал, чтобы оторваться от жены и расслабиться. Пока начальники восторженно разглядывают новый сюжет, Кириллов со словами: “Уклонились от главной темы” — наливает из графина, стоящего на столе, стакан красного вина, неспешно выпивает:

— Так. Что дальше?..

Я позировал еще в нескольких сюжетах. По завершении трудов, дядьки вручили нам канистру рислинга и вывесили карикатуры на стенде возле конторы. Люди собрались, хохотали.

Вернулись мы только ночью. Перед погружением в палатку Кириллов сказал: “С вином в груди и с жаждой вместе”. Водитель нашего автобуса волновался, не выключал свет в кабине, чтобы видно было издалека. Я поделился с ним своим гонораром сорта “Изабелла”, и мы улеглись: он — на широком заднем сиденье, а я — в спальном мешке на полу.

С утра Кириллов щедро угощал художников рислингом, приговаривая: “Это под судачка — рыба посуху не ходит”. А потом пошел дописывать этюд, и уроки продолжились:

— Вчера ты изучал работу натурщика, а сегодня будем знакомиться с понятием перспективы.

— Перспектива, — говорю, — туманна.

— Где туман? — недоумевает Кириллов.

— В моей жизни.

— А-а, Танька... Да-а, барышни могут нагнать тумана. Тебе по молодости этот вопрос представляется сегодня главнейшим в жизни. Но придут времена, когда ты столкнешься с задачами куда более высокого свойства. Может, тогда и вспомнишь сегодняшний день и наши уроки живописи.

И начинает рассказывать о перспективе, об иконах, в которых перспектива обратная, а сам работает потихонечку. Смотрю, как он смешивает на палитре краски, чтобы получился нужный цвет. Спрашиваю: нельзя ли написать Танечку рядом с баркасом — я бы тогда заработал денег и купил этот этюд?

— С Танькой — совсем другой сюжет, — говорит он, — и запомни: нельзя писать две картины на одном холсте. Это вообще очень важное для жизни правило.

За червяком нас больше не пускают — вчерашнюю рыбу художники еще не съели. Перестарался я. А жаль: путешествие оказалось вполне романтичным.

— Теперь о композиции... Вот на этом этюде композиция в порядке?

Я долго всматриваюсь:

— Простите, но, если можно сказать...

— Прощаю, не угнетай, говори!

— Кажется, правый верхний угол немножко...

— Точно! Ставлю тебе пять баллов! Добавим облачко. Ты уже почти Левитан.

— Почему?

— Он, когда писал “Над вечным покоем”, тоже в какой-то момент

озаботился недогруженностью правой верхней части и вставил туда длинное серое облако. А отчего в окошках церкви свет?

— Служба, наверное.

— Раньше на селе по вечерам не служили: как в крошечной тьме по домам разбредаться — ни метро, ни автобусов, ни освещенных улиц, одни волки? А это вообще кладбищенская церквушка — рядом даже и следов жилья нет. Там сейчас лежит усопший, и всю ночь близкие будут читать псалтырь. А вот душа его, она уже, наверное, над вечным покоем.

Спустя много лет, когда я уехал служить в лесную глушь и надо было построить храм, местные жители выбрали за образец храм на холсте Левитана. Точно такой построить не удалось, но некоторого сходства добились. Вот тут и наступили времена, обещанные Кирилловым.

Душа его давно уже поживает в местах, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания — то есть, может статься, как раз над вечным покоем, а его уроки живописи все живут, но... мы, кажется, уклонились от главной темы. Так. Что дальше?

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ

Позвали к тяжкоболящему. Дом на Садовом кольце, дверь открыла маленькая старушка. И пока я снимал пальто, старушка успела скороговоркой сообщить, что она — не какая-нибудь наемная сиделка, а просто — из соседней квартиры, бывшая медсестра. Когда я спросил, где можно вымыть руки, соседка вдруг вдохновилась:

— Замечательно! А то теперь доктора, приходя к больным, руки не моют. Даже детские врачи, ужас!

— Я, — говорю, — из прежних времен.

— Вот и я — тоже. Всю жизнь прожила в этом доме, с малолетства знаю Лизочку — супругу Вани.

Еще успела сказать, что Ваня — велосипедный тренер, мастер спорта, что это она уговорила соседей позвать священника и что Лизочка... Я не дослушал: вошел в комнату и затворил за собой дверь.

Велосипедный тренер был, действительно, плох: смертельная болезнь довела его до крайнего изнеможения, но поздоровался он отчетливо, что вселяло надежду на возможность исповеди. А исповедовался Иван впервые, и, значит, пришлось задавать ему вопросы и что-то растолковывать... Но справились. Уже после причащения услышал я разговор за дверью:

— Это Лиза, — объяснил Иван, — она с работы, — и негромко позвал ее.

Вошла худоцавая женщина лет пятидесяти: ступни развернуты, спина прямая, волосы собраны на затылке в тугий пучок — хрестоматийная балерина. Я поздоровался и:

— В Большой театр со служебного входа без пропуска.

— Нет, — говорит, — теперь уже не получится.

Так началось наше знакомство. У Вани впереди были мучительные процедуры, и я навещался к нему еще несколько раз: соборовал, причащал. Лизочка или старушка соседка угощали чаем на кухне и рассуждали о Ванькиной хвори да о запутанностях жизни вообще. Поскольку обе женщины были весьма говорливы, мне оставалось только слушать. Но наступил и мой черед.

Лизочка стала выяснять, какие балеты я видел. Я назвал несколько спектаклей и между ними — “Коппелию”.

— Подождите! — перебила она. — А где вы видели “Коппелию” — у нас ее давно не ставят?

— В Хореографическом училище, — говорю, — полвека назад.

Мы с моим школьным приятелем Юркой однажды посетили это учебное заведение: идем по фойе концертного зала, а встречные ученицы делают книксены. Юрка спрашивает, почему они нам кланяются. Я говорю: “Уважают”. Он тогда: “И что, кроме них, нас никто не уважает?”

— А как вы туда попали? — спросила Лизочка, — Учился кто-то из родственников или знакомых?

— Нет. Мы с товарищем подменяли в зимнем лагере заболевшего концертмейстера. Позвала, кажется, чья-то мамаша. В благодарность нас пригласили на выпускной спектакль.

— Так это вы?! — воскликнула Лизочка. — Я помню! Я все прекрасно помню!

— Вас, — говорю, — тогда еще на свете не было.

— Была! Маленькая, но была: года три или четыре, наверное. Мама преподавала в училище и на зимние каникулы взяла меня в лагерь. Так что я все помню! Вы играли на пианино, а ваш друг — на гитаре!

Пришлось согласиться.

— Сначала девочки танцевали под Шопена, а когда началась гитарная классика, я пустилась в пляс. Все хохотали, а мама сказала, что Испанский танец из “Лебединого” ждет меня. И ведь дождался! Лет через двадцать, наверное. И “Шопениана” дождалась...

...В лагерьной кладовке хранились оркестровые инструменты. Юрке уж очень захотелось попробовать на тромбоне. Я сказал, что не надо, а то нас девчонки побьют, и предложил ему арфу: мол, та же гитара, только вертикальная. Юрке не понравилось: слишком большая. Зря отказался: он бы что-нибудь кое-как освоил, зато потом всю жизнь можно было говорить, что играл на арфе. А насчет “освоил” — это точно: друг мой легко приспособивался к самым разным щипковым и клавишным инструментам. Но более всего любил барабан. К счастью, ударных инструментов на складе не оказалось, зато у кого-то нашлась гитара.

Мы были обыкновенными шалопаями и валяли дурака в свое удовольствие. Толковые люди ухитрялись извлекать из нашего шалопайства практическую пользу, но, конечно же, мы никак не могли предположить, что станем первооткрывателями будущей балерины.

Поскольку этой историей мое участие в большом балете исчерпывалось, на следующем чаепитии я снова стал слушателем. Лизочка рассказывала, как в девятностые, когда развалился театр, она бросилась на поиски работы в Европу. Тогда, по ее словам, в каждом европейском аэропорту можно было встретить наших вокалистов, балерин, музыкантов, — все мотались из города в город, из оркестра в оркестр, из театра в театр:

— Увидишь человека с инструментом — ну, с футляром — в руках, смело подходишь и начинаешь выяснять, откуда прилетел, какие там вакансии, сколько платят. Он то же самое выспрашивает у тебя...

Помаевшись на случайных заработках, Лизочка уехала преподавать в Африку. Когда ситуация стала выправляться, она вернулась в Москву, восстановила прежний репертуар и добавила новые партии: “не великие, но вполне престижные — из тех, что указываются в программах и на афишах”.

О дальнейших событиях мне рассказывали во время предыдущих чаепитий. С Иваном Лизочка познакомилась в больнице: ей оперировали левый мениск, ему — правый. Так и ходили по коридору, подпирая друг дружку. Вот, собственно, и весь роман. “Быть может, это смешно, — говорила Лизочка, — но я впервые ощутила себя нужной, не абстрактно — зрителям, театру, а одному-единственному человеку”. Вообще, по словам балерины, на романтические отношения времени ей всегда не хватало: спектакли заканчиваются поздно, выматываешься до потери сил, а утром опять к станку.

— Как только поступила в училище, детство исчезло: экзамены, концерты, конкурсы и репетиции, репетиции, репетиции — раньше ведь и во взрослых постановках были детские роли, чтобы мы привыкали к серьезной сцене. Потом заневестилась, а женихов нет: в нашей профессии мальчиков мало. Кстати, вас приглашали в зимний лагерь наверняка с тайной надеждой, что вы с кем-то из девочек познакомитесь и подружитесь.

Мы, признаться, познакомились, но у них действительно не было свободного времени, так что никакого продолжения затея не получила. На котором-то чаепитии Лизочка вдруг начала задавать мне вопросы о вере —

я понял, что супруг, который теперь читал Евангелие, занялся ее духовным просвещением. Потом они стали осваивать утренние и вечерние молитвы.

Между тем, смертельная болезнь немного попритихла, и появилась возможность поднять Ваню на ноги. Лизочка, работавшая теперь в частной балетной школе, всё свободное время тренировала супруга, придумывая новые и новые упражнения. Летом они уехали на курорт. Во время прощального чаепития балерина призналась, что “человеческая жизнь” началась у нее только после встречи в больнице.

ЛЮДИ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

Лесничество располагалось на окраине большого села. Директор — Виктор Савельич — был человеком воцерковленным и радовался, когда духовенство собиралось в его конторе. Иеромонаху Авраамиию выпало восстанавливать каменный храм на соседней улице, так что он приходил пешком, а матушку Варвару, которой предстояло поднимать монастырь на другом конце села, привозила на старенькой машинке монахиня Серафима. Иногда навещались священники из ближайших районов, но чаще собирались втроем: отец Авраамий, матушка Варвара и монахиня Серафима. Встречи эти могли случаться только в будние дни, да и то если не было больших церковных праздников.

Последовательность восстановления проста: крыша, окна, двери, пол, потом все остальное. И у отца Авраамия дела вполне продвигались: он оживил приход, стал зарабатывать мелкие деньги, нанял двух мужичков, которые взялись залатать кровлю. Сложнее оказалось с обиталищем самого батюшки: жил он в церковном чулане, устроенном в древние времена для хранения лампадного масла, свечей, муки и просфор. Это был холодный каменный склеп без окон, с тяжелой кованой дверью, которая прижималась к высокому порожку так плотно, что и мышонок не мог пролезть. Отец Авраамий поставил электрокамин, спал в телогрейке и все равно заболел пневмонией. Хотели скинуться и купить еще один обогреватель, но электрики сказали, что сеть не выдержит. Савельич дал досок, укрыли пол, поставили раскладушку на ящики, задвинули под нее камин, и отец Авраамий благополучно дотянул до весны.

В монастыре были свои неурядицы: из множества помещений только одно стоило для ночлега — угловая башня. Круглую комнату разделили на кельи с помощью занавесок, сшитых из простыней, однако тут же и поняли, что тряпичной архитектуры для восстановления разоренных строений недостаточно. У матушки Варвары был старший брат — монах Митрофан, работавший водителем в епархиальном управлении. После обстоятельных переговоров архиерей отпустил его на два месяца. Приехав, брат Митрофан начал колотить из досок Савельича комнатки для монахинь — началась эра деревянного зодчества. Кроме того, он отремонтировал каморку в развалинах другой башни, где и ночевал.

Зато монастырский собор, объявленный некогда памятником, был в порядке. Служить присылали священников из города по особому расписанию.

На Пасху председатель закрывшегося колхоза подарил матушке Варваре корову и стог сена в приданое. Весь скот ему пришлось отплатить на бойню, одну только Фиалку сберег: “Она особенная: умница, аристократка — не переносит матерных слов, а у вас ей будет хорошо, и молоком — залытеть”. Среди сестер нашлась бывшая доярка — ее назначили скотницей. Брат Митрофан обустроил корове стойло, потом прямо на территории монастыря огородил небольшой выгон и шестого мая, в день Георгия Победоносца, вместе с коровой вышел по крестьянской традиции погулять. Общими стараниями они нашли несколько зеленых травянок, пробившихся из еще холодной земли, и Фиалка аккуратно выщипала свежую растительность. После службы батюшка покропил обоих крещенской водой и сказал: “Быть тебе пастырем, отче!”

К середине мая еда в монастыре кончилась: в погребе оставалось четыре тыквы. А двадцать второго, на праздник святителя Николая, надо было бы

как-то батюшку угостить. Собрали совет: перевспоминали все блюда, которые можно приготовить из тыквы, потом стали соображать, у кого можно добыть картошки хотя бы займы — они уже завели свой огород и по осени могли рассчитывать. Тут появляется сестра, которая ходила на двор трясти половики, и говорит, что заезжал какой-то дядечка и попросил передать настоятельнице конверт. Раскрывают, а там деньги. Матушка заплакала. Остальные присоединились, и весь синклит некоторое время рыдал. Успокоившись, выяснили, что человек этот — москвич, архитектор, купил в деревне пустующий дом, который будет у него вместо дачи. “А как звать-то его?” — зашумели монахини, возжелавшие немедленно помолиться о благодетеле. “Николай”, — отвечала сестра. Потрясенные этим, явно не случайным, совпадением сестры разом ахнули, глубоко вдохнули, чтобы, вероятно, всплакнуть пуще прежнего, но матушка Варвара поднялась и запела “Хвалебную песнь” Амвросия Медиоланского: “Тебе Бога хвалим...”

Буренка — существо, безусловно, полезное, однако за год съедает несколько тонн кормов. Монахини слегка укоротили подрясники, взяли у того же председателя косы и — на трудовой подвиг. Кто-то умел, кто-то не умел, но все старались. Работали на брошенных колхозных полях, где уже появились прутья кустарника, так что отец Авраамий то и дело правил щербинки на косах тружениц. Справились, заготовили.

Осенью областной депутат начал строить коттедж. Савельич привез его в монастырь, надеясь на хоть какую-нибудь поддержку. Тот оглядел разруху и сказал: “Не вижу смысла помогать — они никогда тут ничего не восстанавливают”. Савельич дерзнул осадить его:

— Они-то восстановят, и это им зачтется, а вы могли поучаствовать в богоугодном деле, но отказались — и вот это зачтется вам.

Когда вслед за колхозом упразднили лесничество, и работы в селе почти не осталось, народ стал разбегаться. Приход отца Авраамия обезлюдел, и батюшку перевели в город поднимать мужской монастырь. Храм, который он отремонтировал, пришлось закрыть. Благочинный сказал, что по большим праздникам будет присылать кого-то из священников.

А вот брат Митрофан стал иеромонахом, то есть как раз пастырем, и получил назначение в собор к младшей сестре. Савельича взяли в алтарники, начались ежедневные богослужения, возник хор, потом второй, стали прибывать экскурсанты и паломники... В общем, восстановили монастырь, восстановили. Такие люди. Такое время.

ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Сначала в поселке закрыли школу, и безработным стал Виктор, преподававший биологию, потом “оптимизировали” больницу, и не у дел оказалась его жена — акушерка Людмила.

— И при царе были нужны, и при советской власти, а теперь почему-то без надобности, — горестно удивлялась супруга. — Куда же нас занесло?

— В двадцать первый век, Люсенька, — вздыхал супруг, — в двадцать первый.

Их взял к себе Анатолий — директор охотхозяйства, располагавшегося по соседству. Он приглашал их сразу после закрытия школы, но Виктор никогда в жизни не охотился и считал это занятие не своим. Кроме того, они с Людмилой привыкли по воскресеньям ходить в церковь, а у Анатолия воскресенья — самые напряженные дни... Однако и хозяйству пришел конец: его продали, оставив только главную усадьбу с питомником благородных оленей — для воспроизводства и продажи. Вот тогда-то Виктор с Людмилой взяли благословение у батюшки и переехали.

Им предоставили старенькую избу — бывшие хоромы егеря, и транспорт — коня Мармелада, на котором прежде вывозили из леса добытых кабанов и лосей.

У новых работников была и собственная скотина: рыжий кот и собака Пальма. Тут ещё Анатолию кто-то по старой памяти подарил подсадную

крякву, между тем как озеро теперь принадлежало богатому соседу и вместо утятников там базировался гидросамолет. Птицу бы отпустить, но уже пришли холода, замерзли все ближайшие водоемы, а до теплых краёв утке было не долететь. Крякву назвали Маней и до весны поселили в сарае — там, рядом со стойлом коня, был отдельный чулан для лопат, метелок и другого уличного инструмента.

С Мармеладом Виктор легко подружился: конь давно уже все про жизнь понимал и от людей хотел только одного — чтобы и его понимали, а новый хозяин был селянином и общаться с лошадьми умел. Появление Рыжика и вовсе обрадовало коня: он знал, что теперь грызуны не будут тревожить его по ночам, а сено перестанет пахнуть мышами.

В общем, как-то все друг к другу притерлись, и началась повседневность. Изначально олени паслись в просторном загоне, но когда расплодились, пришлось выпустить их на волю, а кормушки установить вокруг усадьбы. Зимой все стадо и дневало, и ночевало бок о бок с новыми работниками, которые явно вызывали у оленей доверие, в то время как любого пришлого человека животные остерегались. Если с вечера начиналась метель, Виктор выходил из дома с пакетом пшеницы и широким жестом сеятеля разбрасывал лакомство по двору — к утру олени выбирали все зернышки, утаптывая снег до такой плотности, что можно было гулять хоть в шлёпанцах.

Загоном пользовались теперь только, чтобы отловить животных для переселения. Время от времени к Анатолию приезжали заказчики — директора заповедников, охотхозяйств, тогда Людмила готовила праздничный обед, и гостей принимали в том самом коттедже, где прежде размещали охотников.

Зима прошла, можно сказать, спокойно, хотя происшествие все же случилось: неподалеку от питомника была замечена стая волков. Анатолий срочно собрал команду, волков обложили, четырех удалось добыть, но один ушел из оклада и шатался где-то поблизости. Так как ружья у Виктора отродясь не бывало, Анатолий выдал ему ракетницу. И, надо сказать, очень вовремя, потому что следующим утром Виктор столкнулся со зверем уже в питомнике: волк, не обращая внимания на человека, легкой трусцой бежал по дороге прямо к усадьбе, где гуляли десятки оленей. Зарядив ракетницу, Виктор выстрелил в сторону хищника. Тот развернулся и бросился прочь. Но ракета, скользя по укатанной дороге, обогнала его, и когда волк опять увидел страшный огонь перед собой, он развернулся еще раз и побежал в обратную сторону — к человеку. Виктор даже рассмеялся:

— Ты куда, балбес? — крикнул он.

Волк замер.

— Я что, так и буду теперь стрелять, а ты так и будешь туда-сюда бегать?

Зверь растерянно посмотрел по сторонам и сиганул в чащу. Интересно, что охотники, созданные Анатолием, пытались его добрать, но он снова перехитрил их и исчез в соседнем районе.

В общем, зиму пережили без потерь, а весной, когда на озере появились кряквы, улетела Маня. Выращенная из дикого утенка, она улетела, чтобы, как полагал биолог Виктор, вернуться к природному бытию и приманить селезня не для охотников, а для семейной жизни. Впрочем, вкусив бытия и семейной жизни, утка снова явилась к дверям сарая, но теперь в сопровождении утят.

— Что это значит, Маня? — строго поинтересовался Виктор. — Так не договаривались!

Утка крякнула в ответ что-то невразумительное, и тут из дома выбежала Людмила:

— Да какие хорошенькие, какие красивые! Манечка, дорогая, поздравляю тебя!

Пришлось срочно делать вольер из металлической сетки. А потом еще нанимать тракториста, чтобы под видом противопожарного пруда соорудить уткам купальню.

Когда начались школьные каникулы, Виктора и Людмилу навестил внук-старшеклассник. Ненаглядная красавица дочка — их единственное дитя —

вышла замуж за городского. Поначалу внука привозили на лето “подышать свежим воздухом”, но потом зять, который прежде проектировал электростанции, стал продавать электричество за рубеж:

— Понастроили, хватит, пора торговать, — объяснила дочка.

Они приобрели виллу в Италии, куда уже несколько лет и ездили отдыхать. А тут пожалели родителей, отправили внука. Парень поздоровался, включил компьютер, посидел немного:

— Связь плохая, поеду домой.

— Как “домой”? — изумился Виктор, — Я хотел познакомить тебя с оленями — там есть такие общительные ребята...

— И ты что — их понимаешь?

— Не очень. Просто разговариваю со всеми животными на человеческом языке, а уж они — воображают кто как: одни — похуже, другие — лучше, а некоторые — и вообще прекрасно!

— Дедуль, но извини, не могу: надо выходить в интернет, а связь плохая. Пока таксист меняет колесо и не свалил, я, пожалуй... Ты не обижайся! Прими во внимание, что наступил уже двадцать первый век, а ты со своими оленями...

И уехал.

— Не сердись на него, — говорила Людмила, — он ведь блогер, ему надо все время выходить в сеть, ему за это размещают рекламу, и зарабатывает он столько, сколько нам и не снилось.

— С чем он выходит в эту самую сеть?

— Вот сейчас хотел рассказать, что у нас ему предстоит умыться под рукомойником.

— И что?

— А то, что пятьдесят тысяч подписчиков ждут его с новостями.

— Люся! Эти пятьдесят тысяч подписчиков — клинические идиоты?

— Двадцать первый век, Витенька, двадцать первый!

В конце лета донесся слух, что владелец нескольких ресторанов хочет приобрести питомник, чтобы пустить оленей на бифштексы. Анатолий сказал, что преступный приказ выполнять не будет, и собрался уволиться. Виктор с Людмилой ушли бы, конечно, вслед за ним, прихватив Рыжика, Пальму и Маню с ее семейством, но невыносимо жалко было оленей и Мармелада. А потому, прежде чем начинать это скорбное дело, они обратились к духовнику с грандиозным вопросом: “Что противопоставить невзгодам двадцать первого века?”

— Молитесь иконе “Умягчение злых сердец”, — сказал батюшка и добавил: — А в четверг давайте прочтем акафист Николаю чудотворцу: вы — у себя дома, я — у себя.

Скоро подошла весть, что ресторатор распродал заведения и покинул пределы нашего многострадального Отечества. Отслужили благодарственный молебен.

Утята выросли и разлетелись. А Маня осталась.

— Ну что, подруга, год продержались? — спросил ее Виктор.

Она покрякала что-то приветливое в ответ.

— Стало быть, и с двадцать первым веком можно справляться.

ЗАКОН МЕДСЕСТРЫ

Поздний час. Свет погашен. Больница засыпает. Моя кровать у дверей. Слышу, как в коридоре, на посту, дежурная медсестра экзаменует практикантку. Та, похоже, только что из училища: на вопросы отвечает заученно-четко — небось, отличница. Обсудили лечебные процедуры, занялись травматологией — у нас тяжелые переломы, замена суставов, мы делимся на “бедро”, “коленки” и “плечи”. Но и это испытание новенькая преодолела успешно и заслужила похвалу. Девушка в ответ стала щебетать что-то благодарственное, но была прервана:

— А теперь постарайся усвоить закон человеческих отношений, о котором в учебниках не написано. Значит так: мужчины — народ компанейский, и когда в палату поступает новенький, с ним, как правило, сразу хотят подружиться. Приглядывай за “плечами”: “коленки” и “бедрa” в магазин на костылях не побегут, а вот “плечи” — могут.

Успеваю с удивлением отметить точность закона: к нам в палату вчера поступил футбольный вратарь с разбитой ключицей — он уже дважды бегал.

— Так ведь на входе охрана!

— Охрана — тоже мужчины и, стало быть, тоже народ компанейский, понятно?.. Теперь слушай вторую часть этого закона: когда в женскую палату привозят новенькую, все ополчаются против нее.

— Почему?

— Если молодая — потому что молодая, если старая — потому что старая, если красивая — потому что красивая, если некрасивая — потому что некрасивая, если замужем — потому что замужем, если не замужем — потому что не замужем, если...

— А почему они такие? — восклицает девушка.

— Не они, а мы, — смеется дежурная.

За сим наступает долгая тишина.

Сквозь сон слышу:

— Там, в сестринской, есть кушеточка и одеялко, ты уж, милая, пойдн поспи.

— А вы?

— А я подежурю.